

#1. Паршурам

Тело не лжет. Только оно и не лжет — на всем белом свете. Да и на черном. Одно — на двоих. И не сложить, не понять, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это не страсть, и не любовь даже. Не запах, не кожа, не изнурение глаза, пьющего эту неутолимую нежность и хворь счастья — в каждой чуточке тела, в каждом его изгибе — настолько, что исчезаешь в себе, падая, падая... Но куда? Не в нее ведь. И даже не в это тело, от которого, хоть и виду не подаешь, все дрожит и плывет. А туда, где все началось, откуда растет, именно туда падая — в дни творенья. Где нет еще ни ее, ни тебя, но уже проросло, качнулось и дышит то деревце, то тело, одно на двоих, единое, которое через миллионы лет станет вами — тобой и ею, разойдись по разным мирам, чужим, убийственно несовместимым. И вместе с тем — таким родным, что все, что есть у тебя — душа, разум, весь строй твоей жизни и опыта — становится перед этим деревцем на колени, отказываясь понимать. Но и жить с этим не могут. Тело не лжет, тело не лжет, — и пьются от него, и, спотыкаясь, расходятся. И разойтись не могут. Нет у человека ключей к этому. А и были бы — неразрешимо. Потому что не может

так быть. Но есть. И дело не в пресловутых двух половинках, сошедшихся в тютельку божью. Не может, чтобы так мистически безначально и навсегда сливались тела, а жизни непримиримо врозь. Не о сексе это, не о подворье тела, а обо всем его мироздании, которое нам непроглядь, и только они, тела, это знают и чувствуют, и во многом — по ту сторону нас. Каким-то божественно гибельным инцестуальным родством. Это — не лжет. Это. А остальное, то есть попросту жизнь, — не примирить, не сблизить. Боже, как она говорила, до чего ж мы чужие, до зубовного скрежета.

Паршурам, Паршурам... Шестая аватара Вишну. Вот он, чудесный, сын мудреца, одного из тех семи великих риши, но не Вясы, через которого были даны Веда, и мир, неведомый, стал произносимым, а другого. Мать Паршурама как-то загляделась на принца, игравшего у реки со своими женами, и отец, узнав об этом, сказал сыну: убей ее. И сын ее обезглавил. Молодец, сказал мудрец, проси, что хочешь. Вернуть мать, ответил юноша, отирая топор. И воскресили ее, и жили счастливо. Правда, отец недолго. А сын, уже не расстававшийся с тем топором, сотворил потом этот берег, где мы сидим в безлюдном джунглевом храме, рядом с его, Паршурама, мурти, каменным изваянием величиной с ребенка. Три цветка гибискуса на нем — на лбу и на плечах. Кто ж возложил их, никого в округе, кроме птиц и лангуров. День жаркий, за тридцать. Там, за перелеском, океан лежит, тихоня, а тут баньян разошелся рощей, где пять маленьких храмов, как в шалаше живут. Ни души. Лишь лангуры сидят на ветвях, медитируют на заходящее солнце. Серебро шубок, каштановые глаза и длинные черные, словно обугленные, пальцы пианистов.

Нет у нее имени, но и все имена сразу. Вот и замираю с первого шага. Отголосок, выветрившийся в не то чтобы пустоту, шунью, о если бы! В неприхотливую бижутерию жизни? На поверхности — да, наверно. Вот тут-то и ключ лежит, и не будь я так самонадеян, сказал бы: еще один, мнимый. Не в ней. А — за ней. Во всех тех женщинах, кем она была в ее роду, во всех своих ипостасях и именах. И все бы это звучало банально, как можно бы сказать о любой женщине, не будь в ней эти связи и лики так живы, не проступали бы так вдруг и неосознанно для нее самой. Это как местность в тумане: видишь близь, а в промоинах проступает другое, другие. И среди них вдруг всплывает древнее лицо такой юной красоты... В ней, сквозь ее лицо. Как незримо вдруг пересобранное.

Тая звали ее. Одна из ее родовых линий шла через Запорожскую Сечь к цыганам Венгрии. К ворожеям и ведьмам. К огню и омуту, лесам и дорогам. И песням. Сильная линия, но чуть вдали и вполоборота. Еврейской крови в ней вроде не было. Но в какие-то минуты в ней проступала пугающая своей божественной глубиной и нежностью библейская красота. Большие влажно-темные глаза. Как на ликах богородиц. А через миг — озорные, с озерной искоркой. И с ума сводящий выгнутый рот невозможных губ. Когда чуть запрокидывала голову, глядя вверх и в сторону от тебя, обнажая высокую тонкую шею.

Телу ее было вокруг двадцати пяти, хотя по паспорту вдвое больше. Кожа девочки — до оторопи, везде. И запах — неощутимый, настолько родной. Уткнуться носом в любую ложбинку и жить веки вечные. Или взять в ладони ее лицо — в эти мгновенья совсем несовершеннее — и, обмирая, уйти навсегда. Или уж не знаю каким органом чувств вбирать ее маленький цветочный

смех у пределов близости, когда вдруг возносится из себя и ниспадает, вздрагивая всем телом. Смех изумленной печали и жалобной радости.

Худенькая, звонкая, летящая. Переметьвающаяся от дерева к дереву. Что-то в ней было и от лесной мавки. С той нездешней, мнимо телесной тягой, которая вынимает душу, а то вдруг исчезнет, как не было. Словно незримой рукой в ней выключается свет, не без ее ведома. Сколько ж раз я наткался на стены такого несвета. О нет, считанные. А между ними творилось то, о чем молчат.

Нет у меня дома, говорила она, и туфельки негде положить, и платье, которое сшила. И, засыпая, искала ладонью во тьме мою ладонь. Ты мой дом, ты, — и стихала. Чтоб на рассвете идти со мной в джунгли, молча, сопровотявляясь страху, пятясь внутри себя, но идти.

Тут неподалеку есть городок, Чиплун называется. Там, на окраине, на высоком холме стоит древний храм Паршурама. И каждый вечер бог Паршурам прилетает туда из Гималаев, где проводит дни. Ровно без четверти восемь. Брамин затепливает лампы в изголовье его кровати у алтаря за балдахином, перестилает постель, кладя каждый раз по две подушки с обеих сторон, поскольку не предугадать, куда головой ляжет сегодня бог. В храме не людно, два-три прихожанина. Служба начинается у входа: брамин, поющий голосом басовой струны, служка с факелом и лицом из этого же огня и музыкант с индийским кларнетом. Стоят они вокруг символа Вишну — барельефа большой черепахи на мраморном полу. Такие же вишну живут в храмовом пруду. Выписывают по глади письма. А потом выбирают из воды на гхаты, вдвоем-втроем, но не соприкасаясь, и глядят вверх. За храмом — башня с узкой винтовой лестницей, наверху

небольшой зал, там старик у костра, горящего на железном поддоне, рядом с ним два больших барабана, он прогревает их кожу, поглядывая на старые часы на стене, под которыми на шкафу пылится 500-летняя древесная голова Ганеши, а в углу стоит механический эпилептик, выпускаемый в Пуне и рассылаемый по храмам Индии. Нажмешь кнопку, и музыкальные молоточки начинают истоиво колошматить на все лады, образуя малостерпимый, но стройный призыв к началу службы. А потом храм запирают, и Паршурам, перелетев через пол-Индии, ложится в свою кровать, а наутро, когда отпирают засовы, его уже нет, но постель смята, и брамин видит, в какую сторону головой он на этот раз спал. Когда-то, еще до людей, он, Паршурам, выбрал этот холм. Как свой дом. Стелил шкуру, ложился, глядел вдаль на океан. Потом возвели храм. Там. А здесь, в этом джунглевом безлюдье, мурти его стоит. И детские каменные штиблетки кто-то ему смастерил и поставил у его изваяния. Да, я знаю, нет никаких изваяний тут, все живое, и бог, где хочет — вошел-вышел, но и остался — всюду, где вышел-вошел. В штиблетах или без.

Волосы у нее ниспадали до поясницы. Но казалось, они могли бы окутать и всю ее целиком. Почти так она и делала, когда где-нибудь в пути мы ложились вздремнуть, накрывалась ими — и от света, и для тепла-уюта. Темно-каштановыми они были, когда мы встретились. А год спустя, после Индии, стали менять цвет, сначала на такой предутренний, светящийся, а еще через год — вовсю солнечный. И поверить в это было никак нельзя. Но в ней все могло измениться, не то что волосы или имя. От тех, кто проступал. И когда мы встречались в аэропортах, я всякий раз не находил себе места

в ожидании — где она, кто? А потом, уткнувшись друг в друга, стояли долго-долго, трогая, перекладывая ладони — сюда и сюда, там и здесь, прислушиваясь, замирая — ты, ты... Так не бывает, родней не бывает, желанней и... как это сделано, не понять, чтобы два мира, настолько несовместимых, так сошлись — каждой йотой тела, что и ангелу не протиснуться. И через день-другой расходясь по своим мирам, между которыми корчился и обмякал этот рваный проем, где жили, соскальзывая в себя и ловя руки друг друга. И, чудом спасаясь, стихали, обнявшись. Когда все было кончено. И снова встречались в аэропорту.

И отправлялись на край света, и шли, шли по пустынному побережью, оставляя за спиной тот перелетный песок, который пять столетий назад взмыл над Африкой, распростерся над океаном и лег здесь, в Индии, а мы все шли, одни на свете, не считая худенького мальчишки с отцом, забрасывавших сеть с берега и вытаскивавших вместо рыбы морских звезд, шли до самого горизонта, пока не оказались у какого-то полузанесенного песком мусульманского склепа на холме над океаном, и ключник, вышедший из лачуги, молча отпер для нас дверь. Там, в маленьком зале, убранном цветами и огнями, лежал на кровати незримый — как же его имя? — великий суфий, к которому ходил на поклон король Шиваджи. Лежал на кровати с расшитыми золотом подушками и покрывалом, на котором была раскрыта книга, а у изголовья — еще горка книг его времен и стакан воды. Без малого четыреста лет лежит, океан и песок в окошке размером с книгу. Вышли, сели на берегу у перевернутой лодки, голова к голове, ладонь в ладони, утопленные в песок. Так и плыли вдаль. А потом в кузове какой-то

попутной таратайки возвращались домой, пели песни, и свернули сюда неожиданно — к Паршураму. Она сидит за храмом в тени, а я с камерой здесь, она слышит мой голос, по ту сторону нас.

Баньян стоит в могучих дредах, целая роща из одного дерева, уходящего в небо и ниспадающего к земле. И, выпрастываясь из нее, вновь прорастает во все стороны света — ни ствола, ни центра, ни верха, ни низа у этого дерева нет, одно переходит в другое, парампара индуизма, священный баньян. Ни конца, ни начала этой древесной мантре. Вот как надо бы писать. Чтобы не было ни начала, ни конца, ни ствола, ни середины, чтобы все во всем — тат твам аси, как говорят Веды, ты есть то... Не зная что. Вот и иди, не зная куда, ты уже там. Там, обойдя все на свете, став им и вернувшись к себе без себя. Трам-пам-пам. И еще одна часовенка с Паршурамом в зарослях, ах что за чудо — он в ожерелье из листьев бетеля, с серебряными глазами и цветком на тementи. А над ним — спутанная, как косичка отшельника, рыжая древесная нить, растущая из неба. Приблизить, взойти по ней взглядом — туда, туда, в несбывшееся. И выключить камеру.

Вернулись затемно в нашу рыбацкую деревушку Харнай. Дом наш стоит на самом краю — даже не света, а и не скажешь, чего. За спиной у него — мир, люди, приодетые приметы жизни, все более стихающие на подступах, а перед ним — безмерная голость, океан. И дом, как старый баркас на берегу, днище его облапывает прилив, льнет, но не уносит. В половине дома, обращенной к миру, живет семья рыбака Есвана: жена, сын и три юные дочери, все они спят в одной комнате на полу. А наша — над океаном, раскинутым за окном в изголовье кровати. Можно, лежа

на животе, часами смотреть в океан, и особенно в дни его свеченья, когда гребни влекут и утапливают изорванное подвенечное. А по утрам в солнечной дымке ходят рыбацкие лодки, перешагивая легкие волны.

Пока Тая готовила ужин на веранде, глянул почту, сидя у окна. Письмо от Любы. Перечитал дважды. И третий, прикрыв глаза. Чуткое речевое счастье. Как бы жизнь ни была темна. Мир ведь ходит в нас по горло в небытии. И, не будучи выхвачен речью, во тьму и уходит. Но как, чем — в этом мутном, вязком пространстве косноязычия и лжесвидетельств — высветить его, удержать? Она умела. Как мало кто. Умела перехватывать мир на той его симфонической скорости, к которой мы так редко восходим. И удерживать, называя. И речь светилась от этой точности, сливаясь с миром. Годы, как мы разошлись. Она в Москве. Изредка приезжая, виделся с ней и сыном. Но большую часть года проводил в Мюнхене, переписывались — то смолкая, то подходя слишком близко и обжигаясь. А на зиму отправлялся в Индию, но и там связь наша не прерывалась — просто случалась реже, с Таей ли был я или один. Ответил, переместил в папку, где они жили своей жизнью. Похоже, все меньше оглядываясь на нас.

Вышел на веранду. Тая сидит на коврике у балюстрады, обняв колени, едва различима во тьме, глядя между балюстрин вдаль на свеченье волн. Завтра мы уезжаем — она в Севилью, я в Мюнхен. Сложим наши пожитки в просторный трюм кровати и отправимся в аэропорт Мумбаи, надеясь, что в следующем году вернемся. Надеюсь и всякий раз не веря, но вслух это не произнося. Завтра.

И наступит долгий блуждающий день длиной в бесконечные месяцы — с тихим мюнхенским парком, где

каждый вечер раскланиваюсь с лучистой индийской парой — он в тюрбане, она в сари: намосте, намосте... И исчезают со сведенными у груди ладонями. С парком, за которым светятся ночи, скитаются книги, течет Гвадалквивир, падают горькие апельсины в дворик севильского дома, где мы сидим за бутылкой риохи, и счастье, как дождик слепой, и нет нас, расстались, и вновь навсегда, и не утишить, угла не найти, и снова сближенье, дороги и страны, и сны в ожидании осени, за которой Москва и, может быть, Индия...

#2. Почта

— Я так радуюсь твоим строчкам, что, бывает, теряю из виду, о чем речь. Но как же за тобой поспеть, скажи на милость? Мы здесь, на земле, опаздываем и стареем. Поэтому, что ты пишешь, — тебе и не нужна я, не преувеличивай. У нас была хорошая встреча в Москве. И что-то такое чудесно смешное ты сказал на прощанье... Вчера пошли покупать костюм с Лёнькой, по дороге — ты бы видел эту дорогу! — он врезался головой в какой-то металлический ящик на заборе: кровь, и слабость, и бледность — посидели со льдом и перекисью, а он все норовит прилечь, вместо того чтоб ожить, — вызвали скорую. Повезли нас с ветерком в клинику Рошаля. Мореплаватель подложил руки под голову и лежал на носилках очень задумчивый. В больнице зал ожидания — и страшным голосом на всю клинику: пройдите в пятый бокс! Сотрясения не обнаружили, ссадину замазали зеленкой, полюбовались черепом на рентгене и к ночи вернулись домой, событий полны. Это, говорит, была лучшая поездка в моей жизни! Э нет, говорю, дружок, была в твоей жизни и получше поездка на скорой, к врачу-астроному

в Гималаях. Ты пишешь: я так мало помню... а жизнь все льется, как вода в квартире, из которой ушли. Ты помнишь лучшее, а другого и не надо. И нет никакого перрона, на котором ты набоковская гувернантка с единственным русским словом во тьме. Я не знала никого, кто бы так полно проживал свое сегодня, думая, что смотрит в завтра или оглядывается во вчера. Оттого и светит во все края — от того, что пишешь, делаешь. И мне всегда хочется пожелать тебе лишь одного: чтобы был счастлив — сейчас, всегда, каждый день. Ты уже в Индии, долетел?

#3. Харнай

С Новым годом, с 5120-м по Кали-юге! Каль, говорят на хинди, то есть завтра. Но в то же время это и вчера. Как у Плотина, писавшего о душах, которые, как амфибии, живут в обеих стихиях — то на этом свете, то на том — по обстоятельствам. Здесь, в Индии, по обстоятельствам, время течет в обе стороны одновременно. Козочка наших хозяев у меня на руках сидит, пожевывая мои брюки. Ешь-ешь, я в Новом другие куплю. А лучше цветок возьми с елки.

Елка наша — три пальмовые ветви, составленные вместе, тримурти. Однажды, находясь в Тамилнаде, я вернусь из джунглей, куда уж вторую неделю ходил к слонам и другим обитателям, и почувствую дикий зуд от сыпи на спине и шее, а Праба, местный фермер и хозяин арендуемого мной домика, увидев, скажет: о, это оленья шерсть! Имея в виду аллергию от шерсти, оставляемой оленями в колючих кустарниках, сквозь которые я целыми днями продирался по жаре под сорок. Эту оленью шерсть

на спине, говорит Праба, надо смочить слезами пальмы, и все пройдет. Праба, похожий на смуглого фавна, быстроногого, лучезарно хитроватого, с красавицей женой за плечом и тремя сынишками на хвосте. Поворачивается к дому и кричит: Пушкин! Пушкин! Открывается дверь, выходит Пушкин, заспанный, двадцатилетний, времен Бахчисарая. Лицо, бакенбарды, фигура... Пушкин так на себя не похож, как этот слуга Прабы, из местных племен, адиваси. Так я его и назвал тогда, а вослед и Праба, и поддеревни. Пушкин взбирается на пальму, за поясом у него большой кривой нож — чаку. Ничего не выйдет, говорит Праба, срез надо делать до рассвета, тогда будут правильные слезы, а сейчас не те. Посовещались с Пушкиным, тот сходил за одеялом и, взобравшись на пальму, окутал им ветку, ждет. Как будто ночь. Режь, кричит Праба снизу, уже можно. Расслоил эту трехметровую ветку и прикладывает к моей спине, кропит слезами. Все, говорит, завтра забудешь. Забыл я, правда, недели через две, уже в Мюнхене.

А потом мы встретились с Таей в аэропорту Севильи. Как впервые. И снова стояли, уткнувшись друг в друга, и людская толпа обтекала нас, прибывая, убывая — дни, ночи. А потом спали на полу в доме, где она обустроивалась, затеяв ремонт. Ее доме, который мог бы стать нашим, в возлюбленной ее Севилье, антимире Индии, гишпанском сапожке. Домик этот она купила на деньги, полученные при разводе, ее часть. С мужем она разошлась, прожив много лет вместе, обе дочери уже выросли, одна жила в Москве, другая в Питере. Время от времени она созванивалась с ним — дети, деньги, наследство, может, что-то еще, я не слышал, отходил в сторону. В ее дни рожденья он слал ей цветы в Севилью. И надеялся,

что она вернется. Никогда, говорила она, отворачивая лицо, чтоб я не видел увлажнившихся глаз. Просыпались на полу среди мешков цемента, через нас перешагивали работяги, приходившие на заре и исчезающие к вечеру. Мы умывались из бочки в куцем заросшем патио и шли к Гвадалквивиру. А полугодом спустя вновь оказались в Индии. Там, у Прабы. В райском бунгало у края джунглей. В кухоньке за стеной жил Пушкин. А по ночам на огородах наведывались слоны, которых мы с фермерами гоняли криком и факелами. Мать Пушкина пасла у озера стадо коз, не своих, барина. А сам поэт переживал дневной зной, лежа на кровати с мобильником, переговариваясь с барышнями. По-английски он понимал не много, объяснялись мы больше на пальцах. Однажды, готовя там еду, Тая затеяла напомнить ему написанное. Я помню чудное мгновенье, начала она с черпаком в руке, обернувшись к нему от кастрюль. Передо мной явилась ты. Он внимательно слушал, улыбаясь все шире, кивая в такт. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои. Yes, сказал он, когда она закончила, I remember.

На веранде у нас стоит елка-тримурти из пальмовых ветвей, срезанных в этой рыбацкой деревушке Харнай, рядом с руинами форта короля Шиваджи, о который бьются волны, заодно подмывая и дом Есвана Копотка, потомственного рыбака из касты кои, у которого снимаем жилье в десяти сантиметрах от океана, это толщина стены, отделяющей изголовье нашей кровати от прилива. Срезали с Таей эти ветви, приволокли на веранду и соорудили елку, поставив ее в горшок, обряженный в сари. А потом, взяв с лодок мелкую разноцветную рыбу и несколько пучинных златоустов, развесили на ветвях. Одна — с красной, как с мороза, чешуей и волхвующим

глазом — называется рани. Другая — риббон, ею выстилают путь к маяку, сотни тысяч рыбешек сушатся на ветру и солнце, чуть изгибаясь и усыхая: издали — арабская вязь, письмена сверкающего серебра. Третья — с бледно-желтой каймой и хитровато-острым лицом... Забыл, как зовут. Крабы взбираются по елке, как матросы. А на вершине — звезда морская. И цапки цыганские подвязали на нитках. Браслетами мерцает, сережками, цепочками, как морская царевна. Две козочки домашние ходят, разглядывают, млеют. Флаг индийский полощется. И сотворили напиток бессмертия — сому. Стол наш ломится яствами. А над головой — мешок волшебный на крюке, там дары и записки друг другу. Осталось всего пару часов до Нового, который здесь называют Гуди-падва, но это будет весной. Надеюсь, у нас все хорошо и в ближайшие семь-восемь тысяч лет не изменится к лучшему. Да, Вася? Ешь цветочек. А мы в самую полночь пойдем по этой улочке во тьму — к волшебному окну, стоящему в нигде, и войдем в него, там-то все и начнется. А школьницу мы скоро истомим на огне. Муши, зовут их здесь, этих юных акул. Когда-то и мы с тобой были муши. Он и она. Шьет штанишки мужу. Чтоб не мерз он в стужу.

Так и живем: вот дом, крайний в деревне, за ним мир безвиден и пуст. За оградой, которой нет, руины форта короля, варан на крепостную стену выполз, замер, как свастика. А рядом семья мангустов, мама с детками. Кошка к ним ходит наша в траву желтую нечесаную: кошка войдет — и гуськом мангустами выходит по ту сторону, мангусты войдут — кошкой выйдут. А мы сидим наверну на веранде с балюстрадой, не докрашенной Руши, сыном Есвана, кофе пьем, смотрим. Там козочки домашние

блеют, тут наша семья индийская, живущая во второй половине дома: Есван, которого зову папа, хотя моложе меня, Бхарати, жена его, то есть сама Индия. Три дочки у них и сын Руши. Младшая — Дипти, старшеклассница, любимица моя. На день школы сходится вся деревня, костюмированный концерт до трех утра, и первоклашки там — танцуют и смеются. У стены дома в каменной вазе тулси растет священное, семья дважды на дню пуджу совершает — вначале в комнате, потом во дворе: обходят тулси с благовонными палочками и кокосом с цветами, и несут дары к океану. А там, неподалеку от берега, деревце мангровое зеленеет — то по щиколотку в воде, то с головой, в часы прилива. В нем цапля гостит. И ослепительный зимородок на дереве над крепостной стеной сидит век за веком, следит за рыбой и, зависнув в воздухе, пикирует в воду. Кингфишер, король-рыбачок.

Утром ходил на рынок в гавань, что на местном языке — бандер. Вначале Баблу встретил, он сам себя так называет, потому как непроезжимое у него имя — из девяносто семи согласных. Показывал видео в своем мобильном, как у него во дворе отлавливали кобру. Такая изящная двухметровая особь, не агрессивная, хотела уйти — ну в прихожую хотя бы. Не дали, отнесли в лес, выпустили. Баблу. Дом есть, жена, деньги, бизнес, а детей нет. Горе. И в глазах, и в голосе, и в походке. Затем мороженщика встретил. Он из Раджастана, рыжий, хной крашенный, торгует волшбой о десяти сортах ручной выделки, патент и грамотка от правительства. И каждое мороженое с кусочками свежих манго, или инжира, или кешью. Говорит, что у него в родной деревне стоит у дома трактор «Беларусь».